

ИОСИФ БРОДСКИЙ

КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ



ардис



ИОСИФ БРОДСКИЙ

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

стихотворения 1964-1971

Ардис / Анн Арбор

*Copyright©1977 by Iosif Brodsky
Published by Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan,
48104 USA. First printing, January 1977. ISBN 0-88233-262-7
(cloth), 0-88233-263-5 (paperback). Manufactured in the
United States of America.*

ОТ АВТОРА

*Автор выражает благодарность журналам *Russian Literature Triquarterly*, „Континент“ и „Вестник Р. Х. Д.“, в которых впервые были опубликованы некоторые из стихотворений, вошедших в этот сборник.*

—

Издание составили и подготовили Вл. Марамзин и А. Лосев.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Э. Р.

Второе Рождество на берегу
незамерзающего Понта.
Звезда Царей над изгородью порта.
И не могу сказать, что не могу
жить без тебя – поскольку я живу.
Как видно из бумаги. Существую;
глотаю пиво, пачкаю листву и
топчу траву.

Теперь в кофейне, из которой мы,
как и пристало временно счастливым,
беззвучным были выброшены взрывом
в грядущее, под натиском зимы
бежав на Юг, я пальцами черчу
твое лицо на мраморе для бедных;
поодаль нимфы прыгают, на бедрах
задрив парчу.

Что, боги, – если бурое пятно
в окне символизирует вас, боги –
стремились вы нам высказать в итоге?
Грядущее настало, и оно
переносимо; падает предмет,
скрипач выходит, музыка не длится,
и море все морщинистей, и лица.
А ветра нет.

Когда-нибудь оно, а не – увы –
мы, захлестнет решетку променада
и двинется под возгласы „не надо”,
вздымая гребни выше головы,
туда, где ты пила свое вино,
спала в саду, просушивала блузку,
– круша столы, грядущему моллюску
готовя дно.

1971, Ялта

РЕЧЬ О ПРОЛИТОМ МОЛОКЕ

I

1

Я пришел к Рождеству с пустым карманом.
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.

2

Ах, проклятое ремесло поэта.
Телефон молчит, впереди диета.
Можно в месткоме занять, но это
– все равно, что занять у бабы.
Потерять независимость много хуже,
чем потерять невинность. Вчуже
полагаю, приятно мечтать о муже,
приятно произносить „пора бы”.

3

Зная мой статус, моя невеста
пятый год за меня ни с места;
и где она нынче, мне неизвестно:
правды сам черт из нее не выбьет.
Она говорит: „Не горюй напрасно.
Главное – чувства! Единогласно?”
И это с ее стороны прекрасно.
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

6

4

Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.
Оскорбляю кухню желудком лишним.
В довершение всего досаждаю личным
взглядом на роль человека в жизни.
Они считают меня бандитом,
издеваются над моим аппетитом.
Я не пользуюсь у них кредитом.
„Наливайте ему пожиже!”

5

Я вижу в стекле себя холостого.
Я факта в толк не возьму простого,
как дожил до от Рождества Христова
Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.
Двадцать шесть лет непрерывной тряски,
рытья по карманам, судейской таски,
ученья строить Закону глазки,
изображать немого.

6

Жизнь вокруг идет как по маслу.
(Подразумеваю, конечно, массу.)
Маркс оправдывается. Но по Марксу
давно пора бы меня зарезать.
Я не знаю, в чью пользу сальдо.
Мое существование парадоксально.
Я делаю из эпохи сальто.
Извините меня за резвость!

7

То есть, все основания быть спокойным.
Никто уже не кричит „По коням!”
Дворяне выведены под корень.
Ни тебе Пугача, ни Стеньки.
Зимний взят, если верить байке.

Джугашвили хранится в консервной банке.
Молчит орудие на полубаке.
В голове моей — только деньги.

8

Деньги прячутся в сейфах, в банках,
в полу, в чулках, в потолочных балках,
в несгораемых кассах, в почтовых бланках.
Наводняют собой Природу!
Шумят пачки новеньких ассигнаций,
словно вершины берез, акаций.
Я весь во власти галлюцинаций.
Дайте мне кислороду!

9

Ночь. Шуршание снегопада.
Мостовую тихо скребет лопата.
В окне напротив горит лампада.
Я торчу на стальной пружине.
Вижу только лампаду. Зато икону
я не вижу. Я подхожу к балкону.
Снег на крыши кладет попону,
и дома стоят, как чужие.

II

10

Равенство, брат, исключает братство.
В этом следует разобраться.
Рабство всегда порождает рабство.
Даже с помощью революций.
Капиталист развел коммунистов.
Коммунисты превратились в министров.
Последние плодят морфинистов.
Почитайте, что пишет Луций.

11

К нам не плывет золотая рыбка.
Маркс в производстве не вяжет лыка.
Труд не является товаром рынка.
Так говорить – оскорблять рабочих.
Труд – это цель бытия и форма.
Деньги – как бы его платформа.
Нечто помимо путей прокорма.
Разматываем клубочек.

12

Вещи больше, чем их оценки.
Сейчас экономика просто в центре.
Объединяет нас вместо церкви,
объясняет наши поступки.
В общем, каждая единица
по своему существу – девица.
Она желает объединиться.
Брюки просят к юбке.

13

Шарик обычно стремится в лузу.
(Я, вероятно, терзаю Музу.)
Не Конкуренции, но Союзу
принадлежит прекрасное завтра.
(Я отнюдь не стремлюсь в пророки.
Очень возможно, что эти строки
сократят ожидания сроки:
„Год засчитывать за два.”)

14

Пробил час и пора настала
для брачных уз Труда – Капитала.
Блеск презираемого металла
(дальше – изображение в лицах)
приятней, чем пустота карманов,
проще, чем чехарда тиранов,

лучше цивилизации наркоманов,
общества, выросшего на шприцах.

15

Грех первородства – не суть сиротства.
Многим, бесспорно, любезней скотство.
Проще различье найти, чем сходство:
„У Труда с Капиталом контактов нету.“
Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,
хватит трепаться о пополаме.
Есть влечение между полами.
Полюса создают планету.

16

Как холостяк я грущу о браке.
Не жду, разумеется, чуда в раке.
В семье есть ямы и буераки.
Но супруги – единственный тип владельцев
того, что они создают в усладе.
Им не требуется „не укради“.
Иначе все пойдем Христа ради.
Поберегите своих младенцев!

17

Мне, как поэту, все это чуждо.
Больше: я знаю, что „коемуждо...“
Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то,
неужто я против законной власти?
Время спасет, коль они неправы.
Мне хватает скандальной славы.
Но плохая политика портит нравы.
Это уж – по нашей части!

18

Деньги похожи на добродетель.
Не падая сверху – Аллах свидетель –
деньги чаще летят на ветер

не хуже честного слова.
Ими не следует одолажаться.
С нами в гроб они не ложатся.
Им предписано умножаться,
словно в баснях Крылова.

19

Задние мысли сильнее передних.
Любая душа переплюнет ледник.
Конечно, обществу проповедник
нужней, чем слесарь, науки.
Но, пока нигде не слышать пророка,
предлагаю – дабы еще до срока
не угодить в объятия порока –
займите чем-нибудь руки.

20

Я не занят, в общем, чужим блаженством.
Это выглядит красивым жестом.
Я занят внутренним совершенством:
полночь – полбанки – лира.
Для меня деревья дороже леса.
У меня нет общего интереса.
Но скорость внутреннего прогресса
больше, чем скорость мира.

21

Это – основа любой известной
изоляции. Дружба с бездной
представляет сугубо местный
интерес в наши дни. К тому же,
это свойство несовместимо
с братством, равенством и, вестимо,
благородством невозместимо,
недопустимо в муже.

22

Так, тоскуя о превосходстве,
как Топтыгин на воеводстве,
я пою вам о производстве.
Буде указанный выше способ
всеми правильно будет понят,
общество лучших сынов нагонит,
факел разума не уронит,
осчастливит любую особь.

23

Иначе – верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы прицепят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии.

24

Душу затянут большой вуалью.
Объединят нас сплошной спиралью.
Воткнут в розетку с этил-моралью.
Речь освободят от глагола.
Благодаря хорошему зелью,
закружимся в облаках каруселью.
Будем опускаться на землю
исключительно для укола.

25

Я уже вижу наш мир, который
покрыт паутиной лабораторий.
А паутиною траекторий
покрыт потолок. Как быстро!
Это неприятно для глаза.
Человечество увеличивается в три раза.

В опасности белая раса.
Неизбежно смертоубийство.

26

Либо нас перережут цветные.
Либо мы их сошлем в иные
миры. Вернемся в свои пивные.
Но то и другое – не Христианство.
Православные! это не дело.
Что вы смотрите обалдело?!
Мы бы предали Божье Тело,
расчищая себе пространство.

27

Я не воспитывался на софистах.
Есть что-то дамское в пацифистах.
Но чистых отделять от нечистых –
не наше право, поверьте.
Я не указываю на скрижали.
Цветные нас, бесспорно, прижали.
Но не мы их на свет рожали,
не нам предавать их смерти.

28

Важно многим создать удобства.
(Это можно найти у Гоббса.)
Я сижу на стуле, считаю до ста.
Чистка – грязная процедура.
Не принято плясать на могиле.
Создать изобилие в тесном мире –
это по-христиански. Или:
в этом и состоит Культура.

29

Нынче поклонники оборота
„Религия – опиум для народа”
поняли, что им дана свобода,

дожили до золотого века.
Но в таком реестре (издержки слога)
свобода не выбрать – весьма убога.
Обычно тот, кто плюет на Бога,
плюет сначала на человека.

30

„Бога нет. А земля в ухабах.”
„Да, не видать. Отключусь на бабах.”
Творец, творящий в таких масштабах,
делает слишком большие рейды
между объектами. Так что то, что
там Его царствие – это точно.
Оно от мира сего заочно.
Сядьте на свои табуреты!

31

Ночь. Переулоч. Мороз блокады.
Вдоль тротуаров лежат карпаты.
Планеты раскачиваются, как лампы,
которые Бог возжиг в небосводе
в благоговеньи Своем великом
перед непознанным нами ликом
(поэзия делает смотр уликам),
как в огромном кивоте.

III

32

В Новогоднюю ночь я сижу на стуле.
Ярким блеском горят кастрюли.
Я прикладываюсь к микстуре.
Нерв разошелся, как черт в сосуде.
Ощущаю легкий пожар в затылке.
Вспоминаю выпитые бутылки,
вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.
Не хочу возражать по сути.

33

Я сижу на стуле в большой квартире.
Ниагара клокочет в пустом сортире.
Я себя ощущаю мишенью в тире,
вздрагиваю при малейшем стуке.
Я закрыл парадное на засов, но
ночь в меня целит рогами Овна,
словно Амур из лука, словно
Сталин в XVII-ый съезд из „тулки”.

34

Я включаю газ, согреваю кости.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.
Не желаю искать жемчуга в компосте!
Я беру на себя эту смелость!
Пусть изучает навоз кто хочет.
Патриот, господа, не крыловский кочет.
Пусть КГБ на меня не дрожит.
Не бренчи ты в подкладке, мелочь!

35

Я дышу серебром и харкаю медью!
Меня ловят багром и дырявой сетью.
Я дразню гусей и иду к бессмертью,
дайте мне хворостину!
Я беснуюсь, как мышь в пустоте сусека!
Выносите святых и портрет Генсека!
Раздается в лесу топор дровосека!
Поваляюсь в сугробе, авось, остыну.

36

Ничего не остыну! Вообще забудьте!
Я помышляю почти о бунте!
Не присягал я косому Будде,
за червонец помчусь за зайцем!
Пусть закроется — где стамеска! —
яснополянская хлеборезка!

Непротивлень, панове, мерзко.
Это мне – как серпом по яйцам!

37

Как Аристотель на дне колодца,
откуда не ведаю что берется.
Зло существует, чтоб с ним бороться,
а не взвешивать в коромысле.
Всех, скорбящих по индивиду,
всех, подверженных конъюнктивиту,
– всех к той матери по алфавиту:
демократия в полном смысле!

38

Я люблю родные поля, лощины,
реки, озера, холмов морщины.
Все хорошо. Но дерьмо мужчины.
В теле, а духом слабы.
Это я верный закон накнокал.
Все утирается ясный сокол.
Господа, разбейте хоть пару стекол!
Как только терпят бабы?

39

Грустная ночь у меня сегодня.
Смотрит с обоев былая сотня.
Можно поехать в бордель и сводня –
нумизматка – будет согласна.
Лень отклеивать, суетиться.
Остается тихо сидеть, поститься
да напротив в окно креститься,
пока оно не погасло.

40

„Зелень лета, эх, зелень лета!
Что мне шепчет куст бересклета?
Хорошо пройтись без жилета!

Зелень лета вернется.
Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки.
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется.”

январь 1967

ОТКРЫТКА ИЗ ГОРОДА К.

Томасу Венцлова

Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещенное в пространство,
пространством вытесняется.

Вода

дробит в зеркале пасмурном руины
Дворца Курфюрста; и, небось, теперь
пророчествам реки он больше внимлет,
чем в те самоуверенные дни,
когда курфюрст его отгрохал.

Кто-то

среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. То – ветер,
как блудный сын, вернулся в отчий дом
и сразу получил все письма.

1967

ПАМЯТИ Т. Б.

1

Пока не увяли цветы и лента
еще не прошла через зелень лета,
покуда черна и вольна цыганить,
ибо настолько длинна, что память
моя, как бы внемля ее призыву,
потянет ее, вероятно, в зиму, —

2

прими от меня эту рифмо-лепту,
которая если пройдет сквозь Лету,
то потому что пошла с тобою,
опередившей меня стопою;
и это будет тогда, подруга,
твоя последняя мне услуга.

3

Вот уж не думал увидеть столько
роз; это — долг, процент, неустойка
лета тому, кто бесспорно должен
сам бы собрать их в полях, но дожил
лишь до цветенья, а им оставил
полную волю в трактовке правил.

4

То-то они тут и спят навалом.
Ибо природа честна и в малом,
если дело идет о боли

нашей; однако, не в нашей воле
эти мотивы назвать благими;
смерть — это то, что бывает с другими.

5

Смерть — это то, что бывает с другими.
Даже у каждой пускай богини
есть фавориты в разряде смертных,
точно известно, что вовсе нет их
у Персефоны; а рябь извилин
тем доверяет, чей брак стабилен.

6

Все это помнить, пока есть сила,
пока все это свежо и сыро,
пока оболочка твоя, — вернее,
прощанье с ней для меня большее,
чем расставанье с твоей душою,
о каковой на себя с большою

7

радостью Бог — о котором после,
будет ли то Магомет, Христос ли,
словом сама избрала кого ты
раньше, при жизни — возьмет заботы
о несомненном грядущем благе; —
пока сосуд беззащитной влаги,

8

с того разреши мне на этом свете
сказать о ее, оболочки, смерти,
о том, что случилось в тот вечер в Финском
заливе и стало на зависть сфинксам
загадкой — ибо челнок твой вовсе
не затонул, но остался возле.

9

Вряд ли ты знала тогда об этом,
лодка не может и быть предметом
бденье души, у которой сразу
масса забот, недоступных глазу,
стоит ей только покинуть тело;
вряд ли ты знала, едва ль хотела

10

мучить нас тайной, чья сложность либо
усугубляет страданье (ибо
повод к разлуке важней разлуки),
либо она облегчает муки
при детективном душевном складе;
даже пускай ты старалась ради

11

этих последних, затем что, все же,
их большинство, все равно похоже,
что и для них, чьи глаза от плача
ты пожелала сберечь, задача
неразрешима; и блеск на перлах
их многоточия — слезы первых.

12

Чаек не спросишь, и тучи скрылись.
Что бы смогли мы увидеть, силясь
глянуть на все это птичьим взглядом?
Как ты качалась на волнах рядом
с лодкой, не внемля их резким крикам,
лежа в столь малом и в столь великом

13

от челнока расстоянья. Точно
так и бывает во сне; но то, что
ты не цеплялась — победа яви:

ибо страдая во сне, мы вправе
разом проснуться и с дрожью в теле
впиться пальцами в край постели.

14

Чаек не спросишь, и нету толка
в гомоне волн. Остаются только
тучи – но их разгоняет ветер.
Ибо у смерти всегда свидетель
он же и жертва. И к этой новой
роли двойной ты была готовой.

15

Впрочем и так, при любом разбросе
складов душевных, в самом вопросе
„Чем это было?“ разгадки средство.
Самоубийством? Разрывом сердца
в слишком холодной воде залива?
Жизнь позволяет поставить „либо“.

16

Эта частица отнюдь не фора
воображенью, но просто форма
тождества двух вариантов, выбор
между которыми – если выпал –
преображает неподвижность чистых
двух параллельных в поток волнистых.

17

Эта частица – кошмар пророков –
способ защиты от всех упреков
в том, что я в саване хищно роюсь,
в том, что я „плохо о мертвой“ – то есть,
самоубийство есть грех и вето;
а я за тобой полагаю это.

18

Ибо, включая и этот случай,
все ж, ты была христианкой лучшей,
нежели я. И, быть может, с точки
зрения тюркских певцов, чьи строчки
пела ты мне, и вообще Ислама
в этом нет ни греха, ни срама.

19

Толком не знаю. Но в каждой вере
есть та черта, что по крайней мере
объединяет ее с другими:
то не запреты, а то, какими
люди были внизу, при жизни,
в полной серпов и крестов отчизне.

20

Так что ты можешь идти без страха:
ризы Христа иль чалма Аллаха,
соединенье газели с пловом
или цветущие кущи – словом,
в два варианта Эдема двери
настежь раскрыты, смотря по вере.

21

То есть, одетый в любое платье
Бог тебя примет в свое объятье,
и не в любви тут дело Отчей:
в том, что, нарушив довольно общий
смутный завет, ты другой, подробный,
твердо хранила: была ты доброй.

22

Это на счетах любых дороже:
здесь на земле, да и в горних тоже.
Время повсюду едино. Годы

жизни повсюду важней, чем воды,
рельсы, петля или вскрытие вены;
все эти вещи почти мгновенны.

23

Так что твой грех, говоря по сути,
равен — относится к той минуте,
когда ты глотнула последний воздух,
в легких с которым лежать на водах
так и осталась, качаясь мерно.
А добродетель твоя, наверно,

24

эту минуту и ветра посвист
перерастет, как уже твой возраст
переросла, ибо день, когда я
данные строки, почти рыдая,
соединяю, уже превысил
разность выбитых в камне чисел.

25

Черная лента цыганит с ветром.
Странно тебя оставлять нам в этом
месте, под грудой цветов, в могиле,
здесь, где люди лежат, как жили:
в вечной своей темноте, в границах;
разница вся в тишине и птицах.

26

Странно теперь, когда ты в юдоли
лучшей, чем наша, нам плакать. То ли
вера слаба, то ли нервы слабы:
жалость уместней Господней Славы
в мире, где души живут лишь в теле.
Плачу, как будто на самом деле

27

что-то остаться могло живое.
Ибо, когда расстаются двое,
то, перед тем как открыть ворота,
каждый берет у другого что-то
в память о том, как их век был прожит:
тело – незримость; душа, быть может,

28

зренье и слух. Оттого и плачу,
что неглубоко надежду прячу,
будто ты слышишь меня и видишь,
но со словами ко мне не выйдешь:
ибо душа, что набрала много,
речь не взяла, чтоб не гневить Бога.

29

Плачу. Вернее, пишу, что слезы
льются, что губы дрожат, что розы
вянут, что запах лекарств и дерна
резок. Писать о вещах, бесспорно,
тебе до смерти известных, значит
плакать за ту, что сама не плачет.

30

Разве ты знала о смерти больше
нежели мы? Лишь о боли. Боль же
учит не смерти, но жизни. Только
то ты и знала, что сам я. Столько
было о смерти тебе известно,
сколько о браке узнать невеста

31

может – не о любви: о браке.
Не о накале страстей, о шлаке
этих страстей, о холодном, колком

шлаке — короче, об этом долгом
времени жизни, о зимах, летах.
Так что сейчас, в этих черных лентах

32

ты как невеста. Тебе, не знавшей
брака при жизни, из жизни нашей
прочь уходящей, покрытой дерном,
смерть — это брак, это свадьба в черном,
это те узы, что год от года
только прочнее, раз нет развода.

33

Слышишь, опять Персефоны голос?
Тонкий в руках ее вьется волос
жизни твоей, рассеченный Паркой.
То Персефона поет над прялкой
песню о верности вечной мужу;
только напев и плывет наружу.

34

Будем помнить тебя. Не будем
помнить тебя. Потому что людям
свойственна тяга к объектам зримым
или к предметам настолько мнимым,
что не под силу сердечным нетям.
И, не являясь ни тем, ни этим,

35

ты остаешься мазком, наброском,
именем, чуждым своим же тезкам
и не бросающим смертной тени
даже на них. Что поделать с теми,
тел у кого, чем имен, намного
больше? Но эти пока два слога —

36

ТАНЯ – еще означают тело
только твое, не пуская в дело
анестезию рассудка, ими
губы свои раздвигая, имя
я подвергаю твое огласке
в виде последней для тела ласки.

37

Имя твое расстается с горлом
сдавленным. Пользуясь впредь глаголом,
созданным смертью, чтоб мы пропажи
не замечали, кто знает, даже
сам я считать не начну едва ли
будто тебя „умерла” и звали.

38

Если сумею живым, здоровым
столько же с этим прожить я словом
лет, сколько ты прожила на свете,
помни, в Две Тысячи Первом лете,
с риском быть вписанным в святотатцы,
стану просить, чтоб расширить святцы.

39

Так, не сумевши ступать по водам,
с каждым начнешь становиться годом,
туфельки следом на волнах тая,
все беспредметней; и – сам когда я
не дотянувши до этой даты,
посуху двину туда, куда ты

40

первой ушла, в ту страну, где все мы
души всего лишь, бесплотны, немы,

то есть где все, — мудрецы, придурки, —
все на одно мы лицо, как тюрки, —
вряд ли сыщу тебя в тех покоях,
встреча с тобой оправданье коих.

41

Может, и к лучшему. Что сказать бы
смог бы тебе я? Про наши свадьбы,
роды, разводы, поход сквозь трубы
медные, пламень, чужие губы;
то есть, с каким беспримерным рвением
трудимся мы над твоим забвеньем.

42

Стоит ли? Вряд ли. Не стоит строчки.
Как две прямых расстанутся в точке,
пересекаясь, простимся. Вряд ли
свидимся вновь, будь то Рай ли, Ад ли.
Два этих жизни посмертной вида
лишь продолжение идей Эвклида.

43

Спи же. Ты лучше была, а это
в случае смерти всегда примета,
знак невозможности, как при жизни,
с худшим свиданья. Затем, что вниз не
спустишься. Впрочем, долой ходули —
до несвиданья в Раю, в Аду ли.

1968

ПЕСНЯ

Пришел сон из семи сел.
Пришла лень из семи деревень.
Собирались лечь, да простыла печь.
Окна смотрят на север.
Сторожит у ручья скирда ничья,
и большак развезло, хоть бери весло.
Уронил подсолнух башку на стебель.

То ли дождь идет, то ли дева ждет.
Запрягай коней да поедем к ней.
Невеликий труд бросить камень в пруд.
Подопьем, на шелку постелим.
Отчего молчишь и как сыч глядишь?
Иль зубчат забор, как еловый бор,
за которым стоит терем?

Запрягай коня да вези меня.
Там не терем стоит, а сосновый скит.
И цветет вокруг монастырский луг.
Ни амбаров, ни изб, ни гумен.
Не раздумал пока, запрягай гнедка.
Всем хорош монастырь, да с лица – пустырь,
и отец игумен, как есть, безумен.

1964

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛУ Z.

*„Война, Ваша Светлость, пустая игра.
Сегодня – удача, а завтра – дыра...”*

Песнь об осаде Ла-Рошели

Генерал! Наши карты – дерьмо. Я пас.
Север вовсе не здесь, но в Полярном Круге.
И Экватор шире, чем ваш лампас.
Потому что фронт, генерал, на Юге.
На таком расстояньи любой приказ
превращается рацией в буги-вуги.

Генерал! Ералаш перерос в бардак.
Бездорожье не даст подвести резервы
и сменить белье: простыня – наждак;
это, знаете, действует мне на нервы.
Никогда до сих пор, полагаю, так
не был загажен алтарь Минервы.

Генерал! Мы так долго сидим в грязи,
что король червей загодя ликует,
и кукушка безмолвствует. Упаси,
впрочем, нас услышать, как она кукует.
Я считаю, надо сказать мерси,
что противник не атакует.

Наши пушки уткнулись стволами вниз,
ядра размякли. Одни горнисты,
трубы свои извлекая из
чехлов, как заядлые онанисты,
драют их сутками так, что вдруг
те исторгают звук.

Офицеры бродят, презрев устав,
в галифе и кителях разной масти.
Рядовые в кустах на сухих местах
предаются друг с другом постыдной страсти,
и краснеет, спуская пунцовый стяг,
наш сержант-холостяк.

Генерал! Я сражался всегда, везде,
как бы ни были шансы малы и шатки.
Я не нуждался в другой звезде,
кроме той, что у вас на шапке.
Но теперь я как в сказке о том гвозде:
вбитом в стену, лишенном шляпки.

Генерал! К сожалению, жизнь — одна.
Чтоб не искать доказательств вящих,
нам придется испить до дна
чашу свою в этих скромных чашах:
жизнь, вероятно, не так длинна,
чтоб откладывать худшее в долгий ящик.

Генерал! Только душам нужны тела.
Души ж, известно, чужды злорадства,
и сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства;
лучше в чужие встrevать дела,
коли в своих нам не разобраться.

Генерал! И теперь у меня — мандраж.
Не пойму, отчего: от стыда ль, от страха ль?
От нехватки дам? Или просто — блажь?
Не помогает ни врач, ни знахарь.
Оттого, наверно, что повар ваш
не разбирает, где соль, где сахар.

Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.
Это — мeсть пространства кoсой сажени.
Наши пики ржавеют. Наличье пик

это еще не залог мишени.
И не двинется тень наша дальше нас
даже в закатный час.

Генерал! Вы знаете, я не трус.
Выньте досье, наведите справки.
К пуле я безразличен. Плюс
я не боюсь ни врага, ни ставки.
Пусть мне прилепят бубновый туз
между лопаток – прошу отставки!

Я не хочу умирать из-за
двух или трех королей, которых
я вообще не видал в глаза
(дело не в шорах, но в пыльных шторах).
Впрочем, и жить за них тоже мне
неохота. Вдвойне.

Генерал! Мне все надоело. Мне
скучен крестовый поход. Мне скучен
вид застывших в моем окне
гор, перелесков, речных излучин.
Плохо, ежели мир вовне
изучен тем, кто внутри измучен.

Генерал! Я не думаю, что, ряды
ваши покинув, я их ослаблю.
В этом не будет большой беды:
я не солист, но я чужд ансамблю.
Вынув мундштук из своей дуды,
жгу свой мундир и ломаю саблю.

Птиц не видать, но они слышны.
Снайпер, томясь от духовной жажды,
то ли приказ, то ль письмо жены,
сидя на ветке, читает дважды,

и берет от скуки художник наш
пушку на карандаш.

Генерал! Только Время оценит вас,
ваши Канны, флешы, каре, когорты.
В академиях будут впадать в экстаз;
ваши баталии и натюрморты
будут служить расширению глаз,
взглядов на мир и вообще аорты.

Генерал! Я вам должен сказать, что вы
вроде крылатого льва при входе
в некий подъезд. Ибо вас, увы,
не существует вообще в природе.
Нет, не то что бы вы мертвы
или же биты — вас нет в колоде.

Генерал! Пусть меня отдадут под суд!
Я вас хочу ознакомить с делом:
сумма страданий дает абсурд;
пусть же абсурд обладает телом!
И да маячит его сосуд
чем-то черным на чем-то белом.

Генерал, скажу вам еще одно:
Генерал! Я взял вас для рифмы к слову
„умирал” — что было со мною, но
Бог до конца от зерна половину
не отделил, и сейчас ее
употреблять — вранье.

На пустыре, где в ночи горят
два фонаря и гниют вагоны,
наполовину с себя наряд
сняв шутовской и сорвав погоны,
я застываю, встречая взгляд
камеры Лейц или глаз Горгоны.

Ночь. Мои мысли полны одной
женщиной, чудной внутри и в профиль.
То, что творится сейчас со мной,
ниже небес, но превыше кровель.
То, что творится со мной сейчас,
не оскорбляет вас.

Генерал! Вас нету, и речь моя
обращена, как обычно, ныне
в ту пустоту, чьи края – края
некой обширной, глухой пустыни,
коей на картах, что вы и я
видеть могли, даже нет в помине.

Генерал! Если все-таки вы меня
слышите, значит, пустыня прячет
некий оазис в себе, маня
всадника этим; а всадник, значит,
я; я пришпориваю коня;
конь, генерал, никуда не скачет.

Генерал! Воевавший всегда как лев,
я оставляю пятно на флаге.
Генерал, даже карточный домик – хлев.
Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге.
Для переживших великий блеф
жизнь оставляет клочок бумаги.

1968

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯЛТЕ

История, рассказанная ниже,
правдива. К сожалению, в наши дни
не только ложь, но и простая правда
нуждается в солидных подтверждениях
и доводах. Не есть ли это знак,
что мы вступаем в совершенно новый,
но грустный мир? Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств. Но теперь
не говорят „я верю”, а „согласен”.

В атомный век людей волнуют больше
не вещи, а строение вещей.
И как ребенок, распатронив куклу,
рыдает, обнаружив в ней труху,
так подоплеку тех или иных
событий мы обычно принимаем
за самые события. В этом есть
свое очарование, поскольку
мотивы, отношения, среда
и прочее — все это жизнь. А к жизни
нас приучили относиться как
к объекту наших умозаключений.

И кажется порой, что нужно только
переплести мотивы, отношенья,
среду, проблемы — и произойдет
событие; допустим, преступленье.
Ан нет. За окнами — обычный день,
накрапывает дождь, бегут машины,

и телефонный аппарат (клубок
катодов, спаяк, клемм, сопротивлений)
безмолвствует. Событие, увы,
не происходит. Впрочем, слава Богу.

Описанное здесь случилось в Ялте.
Естественно, что я пойду навстречу
указанному выше представлению
о правде — то есть, стану потрошить
ту куколку. Но да простит меня
читатель добрый, если кое-где
прибавлю к правде элемент Искусства,
которое, в конечном счете, есть
основа всех событий (хоть искусство
писателя не есть Искусство жизни,
а лишь его подобье).

Показанья
свидетелей даются в том порядке,
в каком они снимались. Вот пример
зависимости правды от искусства,
а не искусства — от наличия правды.

1

„Он позвонил в тот вечер и сказал,
что не придет. А мы с ним сговорились
еще во вторник, что в субботу он
ко мне заглянет. Да, как раз во вторник.
Я позвонил ему и пригласил
его зайти, и он сказал: „в субботу”.
С какой целью? Просто мы давно
хотели сесть и разобрать совместно
один дебют Чигорина. И все.
Другой, как вы тут выразились, цели
у встречи нашей не было. При том

условии, конечно, что желанье
увидеться с приятным человеком
не называют целью. Впрочем, вам
видней... но, к сожалению, в тот вечер
он, позвонив, сказал, что не придет.
А жаль! я так хотел его увидеть.

Как вы сказали: был взволнован? Нет.
Он говорил своим обычным тоном.

Конечно, телефон есть телефон;
но, знаете, когда лица не видно,
чуть-чуть острее воспринимаешь голос.

Я не слышал волнения... Вообще-то
он как-то странно составлял слова.

Речь состояла более из пауз,
всегда смущавших несколько. Ведь мы
молчанье собеседника обычно
воспринимаем как работу мысли.

А это было чистое молчанье.

Вы начинали ощущать свою
зависимость от этой тишины,
и это сильно раздражало многих.

Нет, я-то знал, что это результат
контузии. Да, я уверен в этом.

А чем еще вы объясните... Как?

Да, значит, он не волновался. Впрочем,
ведь я сужу по голосу и только.

Скажу во всяком случае одно:

тогда во вторник и потом в субботу
он говорил обычным тоном. Если
за это время что-то и стряслось,
то не в субботу. Он же позвонил!

Взволнованные так не поступают!

Я, например, когда волнуясь... Что?

Как протекал наш разговор? Извольте.

Как только прозвучал звонок, я тотчас
снял трубку. „Добрый вечер, это я.

Мне нужно перед вами извиниться.
Так получилось, что придти сегодня
я не сумею.” Правда? Очень жаль.
Быть может, в среду? Мне вам позвонить?
Помилуйте, какие тут обиды!
Так до среды? И он: „Спокойной ночи”.
Да, это было около восьми.
Повесив трубку, я прибрал посуду
и вынул доску. Он в последний раз
советовал пойти ферзем Е-8.
То был какой-то странный, смутный ход.
Почти нелепый. И совсем не в духе
Чигорина. Нелепый, странный ход,
не изменявший ничего, но этим
на нет сводивший самый смысл этюда.
В любой игре существенен итог:
победа, поражение, пусть ничейный,
но все же — результат. А этот ход —
он как бы вызывал у тех фигур
сомнение в своем существовании.
Я просидел с доской до поздней ночи.
Быть может, так когда-нибудь и будут
играть, но что касается меня...
Простите, я не понял: говорит ли
мне что-нибудь такое имя? Да.
Пять лет назад мы с нею разошлись.
Да, правильно: мы не были женаты.
Он знал об этом? Думаю, что нет.
Она бы говорить ему не стала.
Что? Эта фотография? Ее
я убрал перед его приходом.
Нет, что вы! вам не нужно извиняться.
Такой вопрос естественен, и я...
Откуда мне известно об убийстве?
Она мне позвонила в ту же ночь.
Вот у кого взволнованный был голос!”

„Последний год я виделась с ним редко,
 но виделась. Он приходил ко мне
 два раза в месяц. Иногда и реже.
 А в октябре не приходил совсем.
 Обычно он предупреждал звонком
 заранее. Примерно за неделю.
 Чтоб не случилось путаницы. Я,
 вы знаете, работаю в театре.
 Там вечно неожиданности. Вдруг
 заболевает кто-нибудь, сбегает
 на киносъемку – нужно заменять.
 Ну, в общем, в этом духе. И к тому же
 – к тому ж он знал, что у меня теперь...
 Да, верно. Но откуда вам известно?
 А впрочем, это ваше амплуа.
 Но то, что есть теперь, ну, это, в общем,
 серьезно. То есть я хочу сказать,
 что это... Да, и несмотря на это
 я с ним встречалась. Как вам объяснить!
 Он, видите ли, был довольно странным
 и непохожим на других. Да все,
 все люди друг на друга непохожи.
 Но он был непохож на всех других.

Да, это в нем меня и привлекало.
 Когда мы были вместе, все вокруг
 существовать переставало. То есть,
 все продолжало двигаться, вертеться –
 мир жил; и он его не заслонял.
 Нет! я вам говорю не о любви!
 Мир жил. Но на поверхности вещей
 – как движущихся, так и неподвижных –
 вдруг возникало что-то вроде пленки,

вернее – пыли, придававшей им
какое-то бессмысленное сходство.
Так, знаете, в больницах красят белым
и потолки, и стены, и кровати.
Ну, вот представьте комнату мою,
засыпанную снегом. Правда, странно?
А вместе с тем, не кажется ли вам,
что мебель только выиграла б от
такой метаморфозы? Нет? А жалко.
Я думала тогда, что это сходство
и есть действительная внешность мира.
Я дорожила этим ощущеньем.

Да, именно поэтому я с ним
совсем не порывала. А во имя
чего, простите, следовало мне
расстаться с ним? Во имя капитана?
А я так не считаю. Он, конечно,
серьезный человек, хоть офицер.
Но это ощущение для меня
всего важнее! Разве он сумел бы
мне дать его? О Господи, я только
сейчас и начинаю понимать,
насколько важным было для меня
то ощущение! Да, и это странно.
Что именно? Да то, что я сама
отныне стану лишь частичкой мира,
что и на мне появится налет
той патины. А я-то буду думать,
что непохожа на других!.. Пока
мы думаем, что мы неповторимы,
мы ничего не знаем. Ужас, ужас.

Простите, я налью себе вина.
Вы тоже? С удовольствием. Ну что вы,
я ничего не думаю! Когда

и где мы познакомились? Не помню.
Мне кажется, на пляже. Верно, там:
в Ливадии, на санаторском пляже.
А где еще встречаешься с людьми
в такой дыре, как наша? Как, однако,
вам все известно обо мне! Зато
вам никогда не угадать тех слов,
с которых наше началось знакомство.
А он сказал мне: „Понимаю, как
я вам противен, но...” — что было дальше,
не так уж важно. Правда, ничего?
Как женщина советую принять
вам эту фразу на вооруженье.
Что мне известно о его семье?
Да ровным счетом ничего. Как будто,
как будто сын был у него — но где?
А впрочем, нет, я путаю: ребенок
у капитана. Да, мальчишка, школьник.
Угрюм; но, в общем, вылитый отец...
Нет, о семье я ничего не знаю.
И о знакомых тоже. Он меня
ни с кем, насколько помню, не знакомил.
Простите, я налью себе еще.
Да, совершенно верно: душный вечер.

Нет, я не знаю, кто его убил.
Как вы сказали? Что вы! Это — тряпка.
Сошел с ума от ферзевых гамбитов.
К тому ж, они приятели. Чего
я не могла понять, так этой дружбы.
Там, в ихнем клубе, они так дымят,
что могут завонять весь Южный Берег.
Нет, капитан в тот вечер был в театре.
Конечно, в штатском! Я не выношу
их форму. И потом мы возвращались
обратно вместе.

Мы его нашли
в моем парадном. Он лежал в дверях.
Сначала мы решили – это пьяный.
У нас в парадном, знаете, темно.
Но тут я по плащу его узнала:
на нем был белый плащ, но весь в грязи.
Да, он не пил. Я знаю это твердо;
да, видимо, он полз. И долго полз.
Потом? Ну, мы внесли его ко мне
и позвонили в отделение. Я?
Нет – капитан. Мне было просто худо.

Да, все это действительно кошмар.
Вы тоже так считаете? Как странно.
Ведь это – ваша служба. Вы правы:
да, к этому вообще привыкнуть трудно.
И вы ведь тоже человек... Простите!
Я неудачно выразилась... Да,
пожалуйста, но мне не наливайте.
Мне хватит. И к тому ж я плохо сплю,
а утром – репетиция. Ну, разве
как средство от бессонницы. Вы в этом
убеждены? Тогда – один глоток.
Вы правы, нынче очень, очень душно.
И тяжело. И совершенно нечем
дышать. И все мешает. Духота.
Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы?
Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше –
я больше ничего не знаю. Да?
Я совершенно ничего не знаю.
Ну что вам нужно от меня? Ну что вы...
Ну что ты хочешь? А? Ну что? Ну что?"

3

"Так вы считаете, что я обязан

давать вам объяснения? Ну что ж,
обязан так обязан. Но учтите:
я вас разочарую, так как мне
о нем известно, безусловно, меньше,
чем вам. Хотя того, что мне известно,
достаточно, чтобы сойти с ума.
Вам, полагаю, это не грозит,
поскольку вы... Да, совершенно верно:
я ненавидел этого субъекта.
Причины вам, я думаю, ясны.
А если нет – вдаваться в объяснения
бессмысленно. Тем более, что вас,
в конце концов, интересуют факты.
Так вот: я признаю, что ненавидел.

Нет, мы с ним не были знакомы. Я –
я знал, что у нее бывает кто-то.
Но я не знал, кто именно. Она,
конечно, ничего не говорила.
Но я-то знал! Чтоб это знать, не нужно
быть Шерлок Холмсом вроде вас. Вполне
достаточно обычного внимания.
Тем более... Да, слепота возможна.
Но вы совсем не знаете ее!
Ведь если она мне не говорила
об этом типе, то не для того,
чтоб что-то скрыть! Ей просто не хотелось
расстраивать меня. Да и скрывать
там, в общем, было нечего. Она же
сама призналась – я ее припер
к стене – что скоро год, как ничего
уже меж ними не было... Не понял –
поверил ли я ей? Ну да, поверил.
Другое дело, стало ли мне легче.

Возможно, вы и правы. Вам видней.

Но если люди что-то говорят,
то не затем, чтоб им не доверяли.
По мне, уже само движение губ
существенней, чем правда и неправда:
в движении губ гораздо больше жизни,
чем в том, что эти губы произносят.
Вот я сказал вам, что поверил; нет!
Здесь было нечто большее. Я просто
увидел, что она мне говорит.
(Заметьте, не услышал, но увидел!)
Поймите, предо мной был человек.
Он говорил, дышал и шевелился.
Я не хотел считать все это ложью,
да и не мог... Вас удивляет, как
с таким подходом к человеку все же
я ухитрился получить четыре
звезды? Но это — маленькие звезды.
Я начинал совсем иначе. Те,
с кем начинал я, — те давно имеют
большие звезды. Многие и по две.
(Прибавьте к вашей версии, что я
еще и неудачник; это будет
способствовать ее правдоподобью.)
Я, повторяю, начинал иначе.
Я, как и вы, везде искал подвох.
И находил, естественно. Солдаты —
такой народ — все время норовят
начальство охмурить... Но как-то я
под Кошице, в сорок четвертом, понял,
что это глупо. Предо мной в снегу
лежало двадцать восемь человек,
которым я не доверял, — солдаты.
Что? Почему я говорю о том,
что не имеет отношенья к делу?
Я только отвечал на ваш вопрос.

Да, я вдовец. Уже четыре года.
Да, дети есть. Один ребенок, сын.
Где находился вечером в субботу?
В театре. А потом я провожал
ее домой. Да, он лежал в парадном.
Что? Как я реагировал? Никак.
Конечно, я узнал его. Я видел
их вместе как-то раз в универмаге.
Они там что-то покупали. Я
тогда и понял...

Дело в том, что с ним
я сталкивался изредка на пляже.
Нам нравилось одно и то же место —
там, знаете, у сетки. И всегда
я видел у него на шее пятна...
те самые, ну, знаете... Ну вот.
Однажды я сказал ему — ну, что-то
насчет погоды — и тогда он быстро
ко мне нагнулся и, не глядя на
меня, сказал: „Мне как-то с вами неохота”,
и только через несколько секунд
добавил: „разговаривать”. При этом
все время он смотрел куда-то вверх.
Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог
убить его. В глазах моих стемнело,
я ощутил, как заливает мозг
горячая волна, и на мгновенье,
мне кажется, я потерял сознание.
Когда я, наконец, пришел в себя,
он возлежал уже на прежнем месте,
накрыв лицо газетой, и на шее
темнели эти самые подтеки...
Да, я не знал тогда, что это — он.
По счастью, я еще знаком с ней не был.

Потом? Потом он, кажется, исчез;
я как-то не встречал его на пляже.
Потом был вечер в Доме Офицеров,
и мы с ней познакомились. Потом
я увидел их там, в универмаге...
Поэтому его в субботу ночью
я сразу же узнал. Сказать вам правду,
я до известной степени был рад.
Иначе все могло тянуться вечно,
и всякий раз после его визитов
она была немного не в себе.
Теперь, надеюсь, все пойдет как надо.
Сначала будет малость тяжело,
но я-то знаю, что в конце концов
убитых забывают. И к тому же
мы, видимо, уедем. У меня
есть вызов в Академию. Да, в Киев.
Ее возьмут в любой театр. А сын
с ней очень дружит. И, возможно, мы
с ней заведем и своего ребенка.
Я — хахаха — как видите, еще...
Да, я имею личное оружие.
Да нет, не „стечкин” — просто у меня
еще с войны трофейный парабеллум.
Ну да, раненье было огнестрельным.”

4

В тот вечер батя отвалил в театр,
а я остался дома вместе с бабкой.
Ага, мы с ней смотрели телевизор.
Уроки? Так ведь то ж была суббота!
Да, значит телевизор. Про чего?
Сейчас уже не помню. Не про Зорге?
Ага, про Зорге! Только до конца

я не смотрел — я видел это раньше.
У нас была экскурсия в кино.
Ну вот... С какого места я ушел?
Ну, это там, где Клаузен и немцы.
Верней, японцы... и потом они
еще плывут вдоль берега на лодке.
Да, это было после девяти.
Наверно. Потому что гастроном
они в субботу закрывают в десять,
а я хотел мороженого. Нет,
я посмотрел в окно — ведь он напротив.
Да, и тогда я захотел пройтись.
Нет, бабке не сказался. Почему?
Она бы зарычала — ну, пальто,
перчатки, шапка — в общем, все такое.
Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой,
а в той, что с капюшоном. Да, она
на молнии.

Да, положил в карман.

Да нет, я просто знал, где ключ он прячет...
Конечно, просто так! И вовсе не
для хвастовства! Кому бы стал я хвастать?
Да, было поздно и вообще темно.
О чем я думал? Ни о чем не думал.
По-моему я просто шел и шел.

Что? Как я очутился наверху?
Не помню... в общем, потому что сверху
спускаешься когда, перед тобой
все время — гавань. И огни в порту.
Да, верно, и стараешься представить,
что там творится. И вообще когда
уже домой — приятнее спускаться.
Да, было тихо и была луна.
Ну, в общем было здорово красиво.
Навстречу? Нет, никто не попадался.

Нет, я не знал, который час. Но „Пушкин”
в субботу отправляется в двенадцать,
а он еще стоял — там, на корме,
салон для танцев, где цветные стекла,
и сверху это вроде изумруда.
Ага, и вот тогда...

Чего? Да нет же!

Еённый дом над парком, а его
я встретил возле выхода из парка.
Чего? а вообще у нас какие
с ней отношения? Ну как — она
красивая. И бабка так считает.
И вроде ничего, не лезет в душу.
Но мне-то это, в общем, все равно.
Папаша разберется...

Да, у входа.

Ага, курил. Ну да, я попросил,
а он мне не дал и потом... Ну, в общем,
он мне сказал: „А ну катись отсюда”
и чуть попозже — я уж отошел
шагов на десять, может быть, и больше —
вполголоса прибавил: „негодяй”.
Стояла тишина, и я услышал.
Не знаю, что произошло со мной!
Ага, как будто кто меня ударил.
Мне словно чем-то залило глаза,
и я не помню, как я обернулся
и выстрелил в него! Но не попал:
он продолжал стоять на прежнем месте
и, кажется, курил. И я... и я...
Я закричал и бросился бежать.
А он — а он стоял...

Никто со мною

так никогда не говорил! А что,
а что я сделал? Только попросил.
Да, папиросу. Пусть и папиросу!

Я знаю, это плохо. Но у нас почти все курят. Мне и не хотелось курить-то даже! Я бы не курил, я только подержал бы... Нет же! нет же! Я не хотел себе казаться взрослым! Ведь я бы не курил! Но там, в порту, везде огни и светлячки на рейде... И здесь бы тоже... Нет, я не могу как следует все это... Если можно, прошу вас: не рассказывайте бате! А то убьет... Да, положил на место. А бабка? Нет, она уже уснула.

Не выключила даже телевизор, и там мелькали полосы... Я сразу, я сразу положил его на место и лег в кровать! Не говорите бате! Не то убьет! Ведь я же не попал! Я промахнулся! Правда? Правда? Правда?!"

5

Такой-то и такой-то. Сорок лет. Национальность. Холост. Дети – прочерк. Откуда прибыл. Где прописан. Где, когда и кем был найден мертвым. Дальше идут подозреваемые: трое. Итак, подозреваемые – трое. Вообще, сама возможность заподозрить трех человек в убийстве одного весьма красноречива. Да, конечно, три человека могут совершить одно и то же. Скажем, съесть цыпленка. Но тут – убийство. И в самом том факте, что подозрение пало на троих, залог того, что каждый был способен

убить. И этот факт лишает смысла все следствие — поскольку в результате расследования только узнаешь, кто именно; но вовсе не о том, что другие не могли... Ну что вы! Нет! Мороз по коже? Экий вздор! Но в общем способность человека совершить убийство и способность человека расследовать его — при всей своей преемственности видимой — бесспорно не равнозначны. Вероятно, это как раз эффект их близости... О да, все это грустно...

Как? Как вы сказали?!

Что именно само уже число лиц, на которых пало подозрение, объединяет как бы их и служит в каком-то смысле алиби? Что нам трех человек не накормить одним цыпленком? Безусловно. И, выходит, убийца не внутри такого круга, но за его пределами. Что он из тех, которых не подозреваешь!? Иначе говоря, убийца — тот, кто не имеет повода к убийству!? Да, так оно и вышло в этот раз. Да-да, вы правы... Но ведь это... это... Ведь это — апология абсурда! Апофеоз бессмысленности! Бред! Выходит, что тогда оно — логично. Пойдите! Объясните мне тогда, в чем смысл жизни? Неужели в том, что из кустов выходит мальчик в куртке и начинает в вас палить?! А если, а если это так, то почему мы называем это преступлением?

И, сверх того, расследуем! Кошмар.
Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,
что следствие — лишь форма ожидания,
и что преступник вовсе не преступник,
и что...

Простите, мне нехорошо.
Поднимемся на палубу; здесь душно...
Да, это Ялта. Видите — вон там —
там этот дом. Нет, чуть повыше, возле
Мемориала... Как он освещен!
Красиво, правда?.. Нет, не знаю, сколько
дадут ему. Да, все это уже
не наше дело. Это — суд. Наверно
ему дадут... Простите, я сейчас
не в силах размышлять о наказании.
Мне что-то душно. Ничего, пройдет.
Да, в море будет несомненно легче.
Ливадия? Она вон там. Да-да,
та группа фонарей. Шикарно, правда?
Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал?
Да, слава Богу. Наконец плывем.

„Колхида” вспенила бурун, и Ялта —
с ее цветами, пальмами, огнями,
отпускниками, льнущими к дверям
закрытых заведений, точно мухи
к зажженным лампам — медленно качнулась
и стала поворачиваться. Ночь
над морем отличается от ночи
над всякой сушею примерно так же,
как в зеркале встречающийся взгляд —
от взгляда на другого человека.
„Колхида” вышла в море. За кормой
струился пенистый, шипящий след,

и полуостров постепенно таял
в полночной тьме. Вернее, возвращался
к тем очертаньям, о которых нам
твердит географическая карта.

январь – февраль 1969

С ВИДОМ НА МОРЕ

1

Октябрь. Море поутру
лежит щекой на волнорезе.
Стручки акаций на ветру,
как дождь на кровельном железе,
чечетку выбивают. Луч
светила, вставшего из моря,
скорей пронзителен, чем жгуч;
его пронзительности вторя,
на весла севшие гребцы
глядят на снежные зубцы.

2

Покуда храбрая рука
Зюйд-Веста о незримых пальцах
расчесывает облака,
в агавах взрывчатых и пальмах
производя переполох,
свершивший туалет без мыла
пророк, застигнутый врасплох
при сотворении кумира,
свой первый кофе пьет уже
на набережной в неглиже.

3

Потом он прыгает, крестясь,
в прибой, но в схватке рукопашной

он терпит крах. Обзаведясь
в киоске прессою вчерашней,
он размещается в одном
из алюминиевых кресел;
гниют баркасы кверху дном,
дымит на горизонте крейсер,
и сохнут водоросли на
затылке плоском валуна.

4

Затем он покидает брег.
Он лезет в гору без усилий.
Он возвращается в ковчег
из олеандр и бутенвилей,
настолько сросшийся с горой,
что днище течь дает как будто,
когда сквозь заросли порой
внизу проглядывает бухта;
и стол стоит в ковчеге том,
давно покинутом скотом.

5

Перо. Чернильница. Жара.
И льнет линолеум к подошвам...
И речь бежит из-под пера
не о грядущем, но о прошлом;
затем что автор этих строк,
чьей пронизательности беркут
мог позавидовать, пророк,
который нынче опровергнут,
утратив жажду проричать,
на лире пробует бряцать.

6

Приехать к морю в несезон,
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,

что это – временный, но выход
за скобки года, из ворот
тюрьмы. Посмеиваясь криво,
пусть Время взяток не берет –
Пространство, друг, сребролюбиво!
Орел двугривенника прав,
четыре времени поправ!

7

Здесь виноградники с холма
бегут темно-зеленым туком.
Хозяйки белые дома
здесь топят розоватым буком.
Петух вечерний голосит.
Крутя замедленное сальто,
луна разбиться не грозит
о гладь щербатую асфальта:
ее и тьму других светил
залив бы с легкостью вместил.

8

Когда так много позади
всего, в особенности – горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
и глубже. Это превосходство –
не слишком радостное. Но
уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит.

октябрь 1969

Коктебель

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Потому что искусство поэзии требует слов,
я — один из глухих, облысевших, угрюмых посллов
второсортной державы, связавшейся с этой, —
не желая насилловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпитафия — победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект избытка.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс. И пространство торчит преискурантом. Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других оно ищет в сырых овощах. Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то что бы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут — тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей, то ль пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека. То ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу — да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом, то ли дернуть отсюда по морю новым Христом. Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда: как и челн на воде, не оставит на рельсах следа колесо паровоза...

Что же пишут в газетах в разделе „из зала суда“? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены; но не спит. Ибо брезговать кумполом сны продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, неспособные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.

Белоглазая чужь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдоц полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить – динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждаты топора
да зеленого лавра.

декабрь 1969

РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ

Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал петит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себя взираю свыше,

уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной,

тебе твой дар
я возвращаю — не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.

Не стану жечь
тебя глаголом, исповедью, просьбой,
проклятыми вопросами – той оспой,
которой речь
почти с пелен
заражена – кто знает? – не тобой ли;
надежным, то есть, образом от боли
ты удален.

Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье – столь просторное, что эха
в нем не сподобятся ни всплески смеха,
ни вопль: „Услышь!”

Вот это мне
и блазнит слух, привыкший к разнобою,
и облегчает разговор с тобою
наедине.

В Ковчег птенец
не возвратившись, доказует то, что
вся вера есть не более, чем почта
в один конец.

Смотри ж, как, наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это – подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не устрашится кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже .
Там, на кресте

не возоплю: „Почто меня оставил?!“
Не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль — не нарушение правил:
 страданье есть
 способность тел,
 и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
 ее предел.

*

Здесь, на земле,
все горы — но в значении их узком —
 кончаются не пиками, но спуском
 в кромешной мгле,
 и, сжав уста,
 стигматы завернув свои в дерюгу,
идешь на вещи по второму кругу,
 сойдя с креста.

Здесь, на земле,
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленья.
 И в том числе
 взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
 в котором нас разыскивает, скажем,
 один стрелок.

Как на сопле,
все виснет на крюках своих вопросов,
как вор трамвайный, бард или философ —
 здесь, на земле,
 из всех углов
несет, как рыбой, с одесной и с левой
 слиянием с природой или с девой
 и башней слов!

Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,
не входят щебет или шум деревьев —
я нынче глух.

О нет, не помощь
зову твою, означенная высь!
Тех нет объятий, чтоб не разошлись
как стрелки в полночь.
Не жгу свечи,
когда, разжав железные объятия,
будильники, завернутые в платья,
гремят в ночи!

И в этой башне,
в правнучке вавилонской, в башне слов,
все время недостроенной, ты кров
найти не дашь мне!
Такая тишь
там, наверху, встречает златорогца,
что, на чердак карабкаясь, летишь
на дно колодца.

Там, наверху...
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял все, чем на своем веку
владел я. Ибо созданное прочно,
продукт труда
есть пища вора и прообраз Рая,
верней — добыча времени: теряя
(пусть навсегда)

что-либо, ты
не смей кричать о преданной надежде:
то Времени, невидимые прежде,
в вещах черты
вдруг проступают, и теснится грудь
от старческих морщин; но этих линий —
их не разгладишь, тающих, как иней,
коснись их чуть.

Благодарю...
Верней, ума последняя крупица
благодарит, что не дал прилепиться
к тем кушам, корпусам и словарю,
что ты не в масть
моим задаткам, комплексам и формам
зашел — и не предал их жалким формам
меня во власть.

*

Ты за утрату
горазд все это отомщением счесть,
моим приспособлением к циферблату,
борьбой, слиянием с Временем — Бог весть!
Да полно, мне ль!
А если так — то с временем неблизким,
затем что чудится за каждым диском
в стене — туннель.

Ну что же, рой!
Рой глубже и, как вырванное с мясом,
шей сердцу страх пред грустною порой,
пред смертным часом.
Шей бездну мук,
старайся, перебарщивай в усердьи!
Но даже мысль о — как его! — бессмертьи
есть мысль об одиночестве, мой друг.

Вот эту фразу
хочу я прокричать и посмотреть
вперед — раз перспектива умереть
доступна глазу —
кто издали
откликнется? Последует ли эхо?
Иль ей и там не встретится помеха,
как на земли?

Ночная тишь...
Стучит башкой об стол, заснув, заочник.
Кирпичный будоражит позвоночник
печная мышь.
И за окном
толпа деревьев в деревянной раме,
как легкие на школьной диаграмме,
объята сном.

Все откололось...
И время. И судьба. И о судьбе...
Осталась только память о себе,
негромкий голос.
Она одна.
И то — как шлак перегоревший, гравий,
за счет каких-то писем, фотографий,
зеркал, окна,

исподтишка...
и горько, что не вспомнить основного!
Как жаль, что нету в Христианстве бога —
пускай божка —
воспоминаний, с пригоршней ключей
от старых комнат — идолища с ликом
старьевщика — для коротанья слишком
глухих ночей.

Ночная тишь.
Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.
Отрепья дыма роются в обломках
больничных крыш.
Любая речь
безадресна, увы, об эту пору —
чем я сумел, друг-небожитель, спору
нет, пренебречь.

Страстная. Ночь.
И вкус во рту от жизни в этом мире,
как будто наследил в чужой квартире
и вышел прочь!
И мозг под током!
И там, на тридевятом этаже
горит окно. И, кажется, уже
не помню толком

о чем с тобой
витийствовал — верней, с одной из кукол,
пересекающих полночный купол.
Теперь отбой
и невдомек,
зачем так много черного на белом?
Гортань исходит грифелем и мелом,
и в ней — комок

не слов, не слез,
но странной мысли о победе снега —
отбросов света, падающих с неба —
почти вопрос.
В мозгу горчит,
и за стеною в толщину страницы
вопит младенец, и в окне больницы
старик торчит.

Апрель. Страстная. Все идет к весне.

Но мир еще во льду и в белизне.

И взгляд младенца,
еще не начинавшего шагов,
не допускает таянья снегов.

Но и не деться

от той же мысли — задом наперед —

в больнице старику в начале года:

он видит снег и знает, что умрет

до таянья его, до ледохода.

1970

С ФЕВРАЛЯ ПО АПРЕЛЬ

1

Морозный вечер.
Мосты в тумане. Жительницы грота
на кровле Биржи кладают зубами.
Бесчеловечен,
верней, безлюден перекресток. Рота
матросов с фонарем идет из бани.

В глубинах ростра –
вороний кашель. Голые деревья,
как легкие на школьной диаграмме.
Вороньи гнезда
чернеют в них кавернами. Отрепья
швыряет в небо газовое пламя.

Река – как блузка,
на фонари расстегнутая. Садик
дворцовый пуст. Над статуями кровель
курится люстра
луны, в чьем свете император-всадник
свой высеребрил изморозью профиль.

И барку возле
одним окном горящего Сената
тяжелым льдом в норд-ост перекосило.
Дворцы промерзли,
и ждет весны в ночи их колоннада,
как ждут плоты на Ладоге буксира.

В пустом, закрытом на просушку парке
старуха в окружении овчарки –
в том смысле, что она дает круги
вокруг старухи – вяжет красный свитер,
и налетевший на деревья ветер,
терзая волосы, шадит мозги.

Мальчишка, превращающий в рулады
посредством палки кружево ограды,
бежит из школы, и пунцовый шар
садится в деревянную корзину,
распластывая тени по газону;
и тени ликвидируют пожар.

В проулке тихо, как в пустом пенале.
Остатки льда, плывущие в канале,
для мелкой рыбы – те же облака,
но как бы опрокинутые навзничь.
Над ними мост, как неподвижный Гринвич;
и колокол гудит издалека.

Из всех щедрот, что выделила бездна,
лишь зренье тебе служит безвозмездно,
и счастлив ты, и, несмотря ни на
что, жив еще. А нынешней весной
так мало птиц, что вносишь в записную
их адреса, и в святцы – имена.

Шиповник в апреле

Шиповник каждую весну
пытается припомнить точно
свой прежний вид:
свою окраску, кривизну
изогнутых ветвей — и то, что
их там кривит.

В ограде сада поутру
в чугунных обнаружив прутьях
источник зла,
он суетится на ветру,
он утверждает, что не будь их,
проник бы за.

Он корни запустил в свои
же листья, адово исчадьё,
храм на крови.
Не воскрешение, но и
не непорочное зачатъё,
не плод любви.

Стремясь предохранить мундир,
вернее — будущую зелень,
бутоны, тень,
он как бы проверяет мир;
но самый мир недостоверен
в столь хмурый день.

Безлиственный, сухой, нагой,
он мечется в ограде, тыча
иглой в металл
копья чугунного — другой

апрель не дал ему добычи
и март не дал.

И все ж умение куста
свой прах преобразить в горнило,
загнать в нутро
способно разомкнуть уста
любые. Отыскать чернила.
И взять перо.

В эту зиму с ума
я опять не сошел, а зима
глядь и кончилась. Шум ледохода
и зеленый покров
различаю — и значит здоров.
С новым временем года
поздравляю себя
и, зрачок о Фонтанку слепя,
я дроблю себя на сто.
Пятерней по лицу
провожу — и в мозгу, как в лесу,
оседание наста.

Дотянув до седин,
я смотрю, как буксир среди льдин
пробирается к устью. Не ниже
поминания зла
превращенье бумаги в козла
отпущенья обид. Извини же
за возвышенный слог;
не кончается время тревог,
не кончаются зимы.
В этом — суть перемен,
в толчее, в перебранке Камен
на пиру Мнемозины.

5

**Фонтан памяти героев обороны
полуострова Ханко**

Здесь должен быть фонтан, но он не бьет.
Однако сырость северная наша
освобождает власти от забот,
и жажды не испытывает чаша.

Нормальный дождь, обещанный в четверг,
надежней ржавых труб водопровода.
Что позабудет сделать человек,
то наверстает за него природа.

И вы, герои Ханко, ничего
не потеряли: метеопрогнозы
твердят о постоянстве H_2O ,
затмившем человеческие слезы.

1969–1970

ПЕНЬЕ БЕЗ МУЗЫКИ

Когда ты вспомнишь обо мне
в краю чужом – хоть эта фраза
всего лишь вымысел, а не
пророчество, о чем для глаза,

вооруженного слезой,
не может быть и речи: даты
из омута такой лесой
не вытащишь – итак, когда ты

за тридевять земель и за
морями, в форме эпилога
(хоть повторяю, что слеза,
за исключением былого,

все уменьшает) обо мне
вспомянешь все-таки в то Лето
Господне и вздохнешь – о не
вздыхай! – обзревая это

количество морей, полей,
разбросанных меж нами, ты не
 заметишь, что толпу нулей
возглавила сама.

В гордыне
твоей иль в слепоте моей
все дело, или в том, что рано
об этом говорить, но ей –
же Богу, мне сегодня странно,

что, будучи кругом в долгу,
поскольку ограждал так плохо
тебя от худших бед, могу
от этого избавить вздоха.

Грядущее есть форма тьмы,
сравнимая с ночным покоем.
В том будущем, о коем мы
не знаем ничего, о коем,

по крайности, сказать одно
сейчас я в состояньи точно:
что порознь нам суждено
с тобой в нем пребывать, и то, что

оно уже настало — рев
метели, превращенье крика
в глухое толковище слов
есть первая его улика —

в том будущем есть нечто, вещь,
способная утешить или
— настолько-то мой голос вещь! —
занять воображенье в стиле

рассказов Шахразады, с той
лишь разницей, что это больше
посмертный, чем весьма простой
страх смерти у нее — позволь же

сейчас, на языке родных
осин, тебя утешить; и да
пусть тени на снегу от них
толпятся как триумф Эвклида.

Когда ты вспомнишь обо мне,
дня, месяца, Господня Лета

такого-то, в чужой стране,
за тридевять земель — а это

гласит о двадцати восьми
возможностях — и каплей влаги
зрачок вооружишь, возьми
перо и чистый лист бумаги

и перпендикуляр стоймя
восставь, как небесам опору,
меж нашими с тобой двумя
— да, точками: ведь мы в ту пору

уменьшимся и там, Бог весть,
невидимые друг для друга,
почтем еще с тобой за честь
слыть точками; итак, разлука

есть проведение прямой,
и жаждущая встречи пара
любowników — твой взгляд и мой —
к вершине перпендикуляра

поднимется, не отыскав
убежища, помимо горних
высот, до ломоты в висках;
и это ли не треугольник!

Рассмотрим же фигуру ту,
которая в другую пору
заставила бы нас в поту
холодном пробуждаться, полу-

безумных лезть под кран, дабы
рассудок не спалила злоба;
и если от такой судьбы
избавлены мы были оба —

от ревности, примет, комет,
от приворотов, порч, снадобья

— то, видимо, лишь на предмет
черчения его подобья.

Рассмотрим же. Всему есть срок,
поскольку теснота, незрячесть
объятия — сама залог
незримости в разлуке — прячась

друг в друге, мы скрывались от
пространства, положив границей
ему свои лопатки — вот
оно и воздает сторицей

предательству; возьми перо
и чистую бумагу — символ
пространства — и, представив про-
порцию — а нам по силам

представить все пространство: наш
мир все же ограничен, властью
Творца, пусть не наличьем страж
заоблачных, так чьей-то страстью

заоблачной — представь же ту
пропорцию прямой, лежащей
меж нами — ко всему листу
и, карту подстелив для вящей

подробности, разбей чертеж
на градусы, и в сетку втисни
длину ее — и ты найдешь
зависимость любви от жизни.

Итак, пускай длина черты
известна нам, а нам известно,
что это — как бы вид четы,
пределов тех, верней, где места

свиданья лишена она,
и ежели сия оценка

верна (она, увы, верна),
то перпендикуляр, из центра

восставленный, есть сумма сих
пронзительных двух взглядов; и на
основе этой силы их
находится его вершина

в пределах стратосферы – вряд
ли суммы наших взглядов хватит
на большее; а каждый взгляд,
к вершине обращенный, – катет.

Так двух прожекторов лучи,
исследуя враждебный хаос,
находят свою цель в ночи,
за облаком пересекаясь;

но цель их – не мишень солдат:
она – для них сама услуга,
как зеркало, куда глядят
не смеющие друг на друга

взглянуть; итак, кому ж, как не
мне, катету, незриму, нему,
доказывать тебе вполне
обыденную теорему

обратную, где, муча глаз
доказанных обильем пугал,
жизнь требует найти от нас
то, чем располагаем: угол.

Вот то, что нам с тобой ДАНО.
Надолго. Навсегда. И даже
пускай в неощутимой, но
в материи. Почти в пейзаже.

Вот место нашей встречи. Грот
заоблачный. Беседка в тучах.

Приют гостеприимный. Род
угла; притом, один из лучших

хотя бы уже тем, что нас
никто там не застигнет. Это
лишь наших достоянье глаз,
верх собственности для предмета.

За годы, ибо негде до —
до смерти нам встречаться боле,
мы это обживем гнездо,
таща туда по равной доле

скарб мыслей одиноких, хлам
невысказанных слов — все то, что
мы скопим по своим углам;
и рано или поздно точка

указанная обретет
почти материальный облик,
достоинство звезды и тот
свет внутренний, который облак

не застит — ибо сам Эвклид
при сумме двух углов и мрака
вокруг еще один сулит;
и это как бы форма брака.

Вот то, что нам с тобой дано.
Надолго. Навсегда. До гроба.
Невидимым друг другу. Но
оттуда обозримы оба

так будем и в ночи и днем,
от Запада и до Востока,
что мы, в конце концов, начнем
от этого зависеть ока

всевидящего. Как бы явь
на тьму ни налагала арест,

возьми его сейчас и вставь
в свой новый гороскоп, покамест

всевидящее око слов
не стало разбирать. Разлука
есть сумма наших трех углов,
а вызванная ею мука

есть форма тяготенья их
друг к другу; и она намного
сильней подобных форм других.
Уж точно, что сильней земного.

Схоластика, ты скажешь. Да,
схоластика и в прятки с горем
лишенная примет стыда
игра. Но и звезда над морем –

что есть она как не (позволь
так молвить, чтоб высокий в этом
не узрила ты штиль) мозоль,
натертая в пространстве светом?

Схоластика. Почти. Бог весть.
Возможно. Усмотри в ответе
согласие. А что не есть
схоластика на этом свете?

Бог ведает. Клонясь ко сну,
я вижу за окном кончину
зимы; и не найти весну:
ночь хочет удержать причину

от следствия. В моем мозгу
какие-то квадраты, даты,
твоя или моя к виску
прижатая ладонь...

Когда ты

однажды вспомнишь обо мне,
окутанную вспомни мраком,
висящую вверху, вовне,
там где-нибудь, над Скагерраком,

в компании других планет,
мерцающую слабо, тускло,
звезду, которой, в общем, нет.
Но в том и состоит искусство

любви, вернее, жизни — в том,
чтоб видеть, чего нет в природе,
и в месте прозревать пустом
сокровища, чудовищ — вроде

крылатых женогрудых львов,
божков невероятной мощи,
вещающих судьбу орлов.
Подумай же, насколько проще

творения подобных дел,
плетения их оболочки
и прочих кропотливых дел
вселение в пространство точки!

Ткни пальцем в темноту. Невесть
куда. Куда укажет ноготь.
Не в том суть жизни, что в ней есть,
но в вере в то, что в ней должно быть.

Ткни пальцем в темноту — туда,
где в качестве высокой ноты
должна была бы быть звезда;
и, если ее нет, длинноты,

затасканных сравнений лоск
прости: как запоздалый кочет,
униженный разлукой мозг
возвыситься невольнo хочет.

1970

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЕСНЯ

Чучело перепелки
стоит на каминной полке.
Старые часы, правильно стрекоча,
радуют ввечеру смятые перепонки.
Дерево за окном – пасмурная свеча.

Море четвертый день глухо гудит у дамбы.
Отложи свою книгу, возьми иглу;
штопай мое белье, не зажигая лампы:
от золота волос
светло в углу.

1971

POST AETATEM NOSTRAM

А. Я. Сергееву

I

„Империя – страна для дураков.”
Движение перекрыто по причине
приезда Императора. Толпа
теснит легионеров – песни, крики;
но паланкин закрыт. Объект любви
не хочет быть объектом любопытства.

В пустой кофейне позади дворца
бродяга-грек с небритым инвалидом
играют в домино. На скатертях
лежат отбросы уличного света,
и отголоски ликованья мирно
шевелият шторы. Проигравший грек
считает драхмы; победитель просит
яйцо вкрутую и шепотку соли.

В просторной спальне старый откупщик
рассказывает молодой гетере,
что видел Императора. Гетера
не верит и хохочет. Таковы
прелюдии у них к любовным играм.

II

Дворец

Изваянные в мраморе сатир
и нимфа смотрят в глубину бассейна,
чья гладь покрыта лепестками роз.

Наместник, босиком, собственноручно
крававит морду местному царю
за трех голубок, угоревших в тесте
(в момент разделки пирога взлетевших,

но тотчас же попадавших на стол) .
Испорчен праздник, если не карьера.

Царь молча извивается на мокром
полу под мощным, жилистым коленом
Наместника. Благоуханье роз
туманит стены. Слуги безучастно
глядят перед собой, как изваянья.
Но в гладком камне отраженья нет.

В неверном свете северной луны,
свернувшись у трубы дворцовой кухни,
бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрят,
как два раба выносят из дверей
труп повара, завернутый в рогожу,
и медленно спускаются к реке.
Шуршит щебенка.

Человек на крыше
старается зажать кошачью пасть.

III

Покинутый мальчишкой брадобрей
глядится молча в зеркало — должно быть,
грустя о нем и начисто забыв
намыленную голову клиента.
„Наверно, мальчик больше не вернется.”
Тем временем клиент спокойно дремлет
и видит чисто греческие сны:
с богами, с кифаредами, с борьбой
в гимнасиях, где острый запах пота
шекочет ноздри.

Снявшись с потолка,
большая муха, сделав круг, садится
на белую намыленную щеку
заснувшего и, утопая в пене,
как бедные пельтасты Ксенофонта
в снегах армянских, медленно ползет

через провалы, выступы, ущелья
к вершине и, минуя жерло рта,
взобраться норovit на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,
и муха, взыв от ужаса, взлетает.

IV

Сухая послепраздничная ночь.
Флаг в подворотне, схожий с конской мордой,
жуёт губами воздух. Лабиринт
пустынных улиц залит лунным светом:
чудовище, должно быть, крепко спит.

Чем дальше от дворца, тем меньше статуй
и луж. С фасадов исчезает лепка.
И если дверь выходит на балкон,
она закрыта. Видимо, и здесь
ночной покой спасают только стены.
Звук собственных шагов вполне зловещ
и в то же время беззащитен; воздух
уже пронизан рыбою: дома
кончаются.

Но лунная дорога
струится дальше. Черная фелукка
ее пересекает, словно кошка,
и растворяется во тьме, дав знак,
что дальше, собственно, идти не стоит.

V

В расклеенном на уличных щитах
„Послании к властителям” известный,
известный местный кифаред, кипя
негодованием, смело выступает

с призывом Императора убрать
(на следующей строчке) с медных денег.

Толпа жестикулирует. Юнцы,
седые старцы, зрелые мужчины
и знающие грамоте гетеры
единогласно утверждают, что
„такого прежде не было” — при этом
не уточняя, именно чего
„такого”:

мужества или холуйства.

Поэзия, должно быть, состоит
в отсутствии отчетливой границы.

Невероятно синий горизонт.
Шуршание прибоя. Растянувшись,
как ящерица в марте, на сухом
горячем камне, голый человек
лушит ворованный миндаль. Поодаль
два скованных между собой раба,
собравшиеся, видно, искупаться,
смеясь друг другу помогают снять
свое тряпье.

Невероятно жарко;
и грек сползает с камня, закатив
глаза, как две серебряные драхмы
с изображеньем новых Диоскуров.

VI

Прекрасная акустика! Строитель
недаром вшей кормил семнадцать лет
на Лемносе. Акустика прекрасна.

День тоже восхитителен. Толпа,
отлившаяся в форму стадиона,
застыв и затаив дыханье, внемлет

той ругани, которой два бойца
друг друга осыпают на арене,
чтоб, распалась, схватиться за мечи.

Цель состязанья вовсе не в убийстве,
но в справедливой и логичной смерти.
Законы драмы переходят в спорт.

Акустика прекрасна. На трибунах
одни мужчины. Солнце золотит
кудлатых львов правительственной ложи.
Весь стадион – одно большое ухо.

„Ты падаль!” - „Сам ты падаль.” – „Мразь и падаль!”
И тут Наместник, чье лицо подобно
гноящемуся вымени, смеется.

VII

Башня

Прохладный полдень.
Теряющийся где-то в облаках
железный шпиль муниципальной башни
является в одно и то же время
громоотводом, маяком и местом
подъема государственного флага.
Внутри же – размещается тюрьма.

Подсчитано когда-то, что обычно –
в сатрапиях, во время фараонов,
у мусульман, в эпоху христианства –
сидело иль бывало казнено
примерно шесть процентов населения.
Поэтому еще сто лет назад
дед нынешнего цезаря задумал
реформу правосудья. Отменив
безнравственный обычай смертной казни,
он с помощью особого закона

те шесть процентов сократил до двух,
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,
пожизненно. Неважно, совершил ли
ты преступление или невиновен;
закон, по сути дела, как налог.
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Слепящий блеск хромированной стали.
На сорок третьем этаже пастух,
лицо просунув сквозь иллюминатор,
свою улыбку посылает вниз
пришедшей навестить его собаке.

VIII

Фонтан, изображающий дельфина
в открытом море, совершенно сух.
Вполне понятно: каменная рыба
способна обойтись и без воды,
как та — без рыбы, сделанной из камня.

Таков вердикт третейского суда.
Чьи приговоры отличает сухость.

Под белой колоннадою дворца
на мраморных ступеньках кучка смуглых
вождей в измятых пестрых балахонах
ждет появления своего царя,
как брошенный на скатерти букет —
заполненной водой стеклянной вазы.

Царь появляется. Вожди встают
и потрясают копьями. Улыбки,
объятья, поцелуи. Царь слегка
смущен; но вот удобство смуглой кожи:
на ней не так видны кровоподтеки.

Бродяга-грек зовет к себе мальчика.
„О чем они болтают?” – „Кто, вот эти?”
„Ага.” – „Благодарят его.” – „За что?”
Мальчишка поднимает ясный взгляд:
„За новые законы против нищих.”

IX

Зверинец

Решетка, отделяющая льва
от публики, в чугунном варианте
воспроизводит путаницу джунглей.

Мох. Капли металлической росы.
Лиана, оплетающая лотос.

Природа имитируется с той
любовью, на которую способен
лишь человек, которому не все
равно, где заблудиться: в чаще или
в пустыне.

X

Император

Атлет-легионер в блестящих латах,
несущий стражу возле белой двери,
из-за которой слышится журчанье,
глядит в окно на проходящих женщин.
Ему, торчащему здесь битый час,
уже казаться начинает, будто
не разные красавицы внизу
проходят мимо, но одна и та же.

Большая золотая буква М,
украшившая дверь, по сути дела,
лишь прописная по сравненью с той,
огромной и пунцовой от натуги,
согнувшейся за дверью над проточной
водою, дабы рассмотреть во всех
подробностях свое отображенье.

В конце концов, проточная вода
ничуть не хуже скульпторов, все царство
изображеньем этим наводнивших.

Прозрачная, журчащая струя.
Огромный, перевернутый Верзувий,
над ней нависнув, медлит с изверженьем.

Все вообще теперь идет со скрипом.
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!
Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!
И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.

Гладко.

XI

Светильник гаснет, и фитиль чадит
уже в потемках. Тоненькая струйка
всплывает к потолку, чья белизна
в крошечном мраке в первую минуту

согласна на любую форму света.
Пусть даже копать.

За окном всю ночь
в неполатом саду шумит тяжелый
азиатский ливень. Но рассудок – сух.
Настолько сух, что, будучи охвачен
холодным бледным пламенем объятая,
воспламеняешься быстрее, чем лист
бумаги или старый хворост.

Но потолок не видит этой вспышки.

Ни копоти, ни пепла по себе
не оставляя, человек выходит
в сырую темень и бредет к калитке.
Но серебристый голос козодоя
велит ему вернуться.

Под дождем
он, повинуясь, снова входит в кухню
и, снявши пояс, высыпает на
железный стол оставшиеся драхмы.
Затем выходит.
Птица не кричит.

ХII

Задумав перейти границу, грек
достал вместительный мешок и после
в кварталах возле рынка изловил
двенадцать кошек (почерней) и с этим
скребущимся, мяукающим грузом
он прибыл ночью в пограничный лес.

Луна светила, как она всегда
в июле светит. Псы сторожевые
конечно заливали все ущелье
тоскливым лаем: кошки перестали

в мешке скандалить и почти притихли.
И грек промолвил тихо: „В добрый час.

Афина, не оставь меня. Ступай
передо мной”, — а про себя добавил:
„На эту часть границы я кладу
всего шесть кошек. Ни одну больше.”
Собака не взберется на сосну.
Что до солдат — солдаты суеверны.

Все вышло лучшим образом. Луна,
собаки, кошки, суеверье, сосны —
весь механизм сработал. Он взобрался
на перевал. Но в миг, когда уже
одной ногой стоял в другой державе,
он обнаружил то, что упустил:

оборотившись, он увидел море.

Оно лежало далеко внизу.
В отличие от животных, человек
уйти способен от того, что любит
(чтоб только отличаться от животных).
Но, как слюна собачья, выдают
его животную природу слезы:

„О, Галлатта!..”

Но в этом скверном мире
нельзя торчать так долго на виду,
на перевале, в лунном свете, если
не хочешь стать мишенью. Вскинув ношу,
он осторожно стал спускаться вниз,
в глубь континента; и вставал навстречу
еловый гребень вместо горизонта.

1970

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Перевод заглавия: *ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ*.

Диоскуры. – Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк), в греческой мифологии символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей; изображались только боги или их символы; также – мифологические персонажи.

Лемнос. – Остров в Эгейском море, служил и служит местом ссылки.

Верзувий. – От славянского „верзать“.

Таллатта. – (Греч.) море.

1970

ЧАЕПИТИЕ

„Сегодня ночью снился мне Петров.
Он, как живой, стоял у изголовья.
Я думала спросить насчет здоровья,
но поняла бестактность этих слов.”

Она вздохнула и перевела
взгляд на гравюру в деревянной рамке,
где человек в соломенной панамке
сопровождал угрюмого вола.

Петров женат был на ее сестре,
но он любил свояченицу; в этом
сознавшись ей, он позапрошлым летом,
поехав в отпуск, утонул в Днестре.

Вол. Рисовое поле. Небосвод.
Погонщик. Плуг. Под бороздою новой —
как зернышки: „на память Ивановой”
и вовсе неразборчивое: „от...”

Чай выпит. Я встаю из-за стола.
В ее зрачке поблескивает точка
звезды — и понимание того, что,
воскресни он, она б ему дала.

Она спускается за мной во двор
и обращает скрытый поволокой,
верней, вооруженный ею взор
к звезде, математически далекой.

1970

ДЕБЮТ

1

Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга;
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.

А воскресенье началось с дождя;
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
с непрочной в стенку вбитого гвоздя.

Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час еще спала.
Она лежала в ванне, ощущая

всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.

2

Дверь тихо притворившая рука
была — он вздрогнул — выпачкана; пряча
ее в карман, он услышал, как сдача
с вина плеснула в недрах пиджака.

Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки.
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ

слетела ругань. Глядя в пустоту,
он покраснел и, осознав нелепость,
так удивился собственному рту,
что врос бы в грунт, не показись троллейбус.

Он раздевался в комнате своей,
не глядя на припахивавший потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом.

1970

* * *

Время года — зима. На границах спокойствие. Сны переполнены чем-то замужним, как вязким вареньем, и глаза праотца наблюдают за дрожью блесны, торжествующей втуне победу над щучьим вельнем.

Хлопни оземь хвостом, и в морозной декабрьской мгле ты увидишь, опричь своего неприкрытого срама — полумесяц плывет в запыленном оконном стекле над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.

Куполов, что голов, да и шпилей — что задранных ног. Как за смертным порогом, где встречу друг другу назначим, где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог, где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим.

Не купишь на басах, не сорвись на глухой фистуле. Коль не подлую власть, то самих мы себя перебором. Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе, то не все ли равно ошибиться крюком или морем.

1967-1970

ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Томасу Венцлова

1. Вступление

Вот скромная, приморская страна.
Свой снег, аэропорт и телефоны,
свои евреи. Бурый особняк
диктатора. И статуя певца,
отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,
но знание географии: южане
здесь по субботам ездят к северянам
и, возвращаясь под хмельком пешком,
порой на Запад забредают – тема
для скетча. Расстоянья таковы,
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,
бесчисленные ангелы на кровлях
бесчисленных костелов; человек
становится здесь жертвой толчеи
или деталью местного барокко.

2. Леиклос *

Родиться бы сто лет назад
и, сохнувшей поверх перины,

глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,
о польских барышнях, к примеру;
дождаться Первой Мировой
и пасть в Галиции – за Веру,
Царя, Отечество, – а нет,
так пейсы переделать в бачки
и перебраться в Новый Свет,
блюя в Атлантику от качки.

3. Кафе „Неринга”

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, под-шафе,
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый крут
замирает поверх черепичных кровель,
и кадык заостряется, точно вдруг
от лица остается всего лишь профиль.

И, веления щучьего слыша речь,
подавальщица в кофточке из батиста
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.

4. Герб

Драконоборческий Егорий,
копье в горниле аллегорий

утратив, сохранил досель
коня и меч, и повсеместно
в Литве преследует он честно
другим невидимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,
решил настичь? Предмет погони
скрыт за пределами герба.
Кого? Язычника? Гяура?
Не весь ли мир? Тогда не дура
была у Витовта губа.

5. Amicum-philosophum de melancholia, mania et plica polonica **

Бессонница. Часть женщины. Стекло
полно рептилий, рвущихся наружу.
Безумье дня по мозжечку стекло
в затылок, где образовало лужу.
Чуть шевельнись – и ошутит утро,
как некто в ледяную эту жижу
обмакивает острое перо
и медленно выводит „ненавижу”
по прописи, где каждая крива
извилина. Часть женщины в помаде
в слух запускает длинные слова,
как пятерню в завшивленные пряди.
И ты в потемках одинок и наг
на простыне, как Зодиака знак.

6. Palangen ***

Только море способно взглянуть в лицо
небу; и путник, сидящий в дюнах,
опускает глаза и сосет винцо,
как изгнанник-царь без орудий струнных.

Дом разграблен. Стада у него — свели.
Сына прячет пастух в глубине пещеры.
И теперь перед ним — только край земли,
и ступать по водам не хватит веры.

7. Dominikanaj ****

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
— Прости меня.

1971

* Улица в Вильнюсе.

** (Лат.) „Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне”
Название средневековой книги, хранящейся в вильнюсской библиотеке.

*** (Нем.) Паланга.

**** (Лит.) „Доминиканцы” (костел в Вильнюсе).

Л. В. Лифшицу

Я всегда твердил, что судьба – игра.
Что зачем нам рыба, раз есть икра.
Что готический стиль победит, как школа,
как способность торчать, избежав укола.
Я сижу у окна. За окном осина.
Я любил немногих. Однако сильно.

Я считал, что лес – только часть полена.
Что зачем вся дева, раз есть колено.
Что, устав от поднятой веком пыли,
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.
Я сижу у окна. Я помыл посуду.
Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке – ужас пола.
Что любовь, как акт, лишена глагола.
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
вещь обретает не ноль, но Хронос.
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.
Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.
И что семя, упавши в дурную почву,
не дает побега: что луг с поляной
есть пример рукоблудья, в Природе данный.
Я сижу у окна, обхватив колени,
в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,
но зато ее хором не спеть. Не диво,

что в награду мне за такие речи
своих ног никто не кладет на плечи.

Я сижу у окна в темноте; как скорый,
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.

1971

НАТЮРМОРТ

“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.”

C.Pavese*

1

Вещи и люди нас
окружают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье
в парке, глядя вослед
проходящей семье.
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима.
Согласно календарю.
Когда опротивеет тьма,
тогда я заговорю.

2

Пора. Я готов начать.
Неважно, с чего. Открыть
рот. Я могу молчать.
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.
Или же — ничего.

* (Ит.) „Придет смерть, и у нее будут твои глаза”. Ч. Павезе.

Или же о вещах.
О вещах, а не о

людях. Они умрут.
Все. Я тоже умру.
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру.

3

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.
Лицами их привит
к жизни какой-то не-
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,
что противно уму.
Что выражает лезть
неизвестно кому.

4

Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них — и внутри нутра.

Внутри у предметов — пыль.
Прах. Древооточец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт.

5

Старый буфет извне
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.
Швабра, епитрахиль
пыль не сотрут. Сама
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,
не напрягает бровь.
Ибо пыль — это плоть
времени; плоть и кровь.

6

Последнее время я
сплю среди бела дня.
Видимо, смерть моя
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,
зеркало мне ко рту, —
как я переносу
небытие на свету.

Я неподвижен. Два
бедра холодны, как лед.

Венозная синева
мрамором отдает.

7

Преподаю сюрприз
суммой своих углов,
вещь выпадает из
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не
движется. Это – бред.
Вещь есть пространство, вне
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь
не крикнет: „Ебёна мать!”

8

Дерево. Тень. Земля
под деревом для корней.
Корявые вензеля
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.
Камень, чей личный груз
освобождает от
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни
сдвинуть, ни унести.
Тень. Человек в тени,
словно рыба в сети.

9

Вещь. Коричневый цвет
вещи. Чей контур стерт.
Сумерки. Больше нет
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет
тело, чья гладь визит
смерти, точно приход
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
„Смерть придет, у нее
будут твои глаза.”

10

Мать говорит Христу:
– Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив? –

Он говорит в ответ:
– Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

1971

ЛЮБОВЬ

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчанны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготы.

В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,

еще никак не названных — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недостижимостью в ней.

февраль 1971

СОДЕРЖАНИЕ

„Второе Рождество на берегу...”	5
Речь о пролитом молоке	6
Открытка из города К.	18
Памяти Т. Б.	19
Песня	29
Письмо генералу Z.	30
Посвящается Ялте	35
С видом на море	55
Конец прекрасной эпохи	58
Разговор с небожителем	61
С февраля по апрель	69
Пенье без музыки	75
Октябрьская песня	83
Post aetatem nostram	85
Чаепитие	98
Дебют	99
„Время года – зима. На границах спокойствие. Сны...”	101
Литовский дивертисмент	102
„Я всегда твердил, что судьба – игра...”	106
Натюрморт	108
Любовь	113

